

ДАН ПАГИС

[94]

ил 9/2021



Из стихотворений в прозе

Перевод с иврита и вступление НИКИТЫ БЫСТРОВА

В израильской поэзии второй половины XX века стихи Дана Пагиса (1930—1986) всегда занимали несколько обособленное место (как говорит литературовед Ариэль Гиршфельд, “словно бы на краю потока”). С одной стороны, в них легко обнаружить черты, соответствующие новаторским устремлениям поэтов его поколения (“поколения государства”) — прежде всего Натана Заха и Йегуды Амихая, — присущие в целом всей так называемой “второй волне” ивритского модернизма. С другой, многие из тех, кто писал о Пагисе, отмечают, что в его стихах изначально было нечто не вполне совместимое с поисками и экспериментами современников: Дан Мирон указывает на “холодность и статичность”, “замороженность сравнений и ситуаций”, Амос Оз — на конфликтное сочетание “классической сдержанности” и “хлесткой иронии”, Тamar Якоби — на непроницаемую “герметичность под маской простоты и элегантности”, Михаэль Глузман — на “отрицание общепринятых норм исповедальной экспрессивности”, Шимон Зандбанк — на тяготение любого высказывания к молчанию, к эффекту “чистого листа”. Эти особенности, только намеченные в первом сборнике Пагиса, “Солнечные часы” (1959), но в полной мере характерные уже для второй книги, “Поздний досуг” (1964), принято связывать с испытания-

© Дан Пагис, наследники, 2009

© Никита Быстров. Перевод, вступление 2021

Стихотворения в прозе публикуются с любезного разрешения наследников Дана Пагиса.

ми, выпавшими на его долю во время Катастрофы — с долгим (1941—1944) пребыванием в нацистском концлагере и с той ничем не восполнимой душевной опустошенностью, которая, по общему мнению (на мой взгляд, справедливому), образует глубинный “подтекст” его поэзии. “В каждом прямоугольнике цветочной клумбы я вижу могилу сонма убитых”, — говорит он в поздней автобиографической прозе “Отец”. Так, вероятнее всего, и было в повседневной жизни, однако в его поэтических текстах опыт Катастрофы очень редко обнаруживает себя напрямую — посредством личных воспоминаний или каких-то событийных аллюзий. Все пережитое столь тщательно утаено и зашифровано, что стихи не дают возможности узнать что-то определенное о самом поэте. “Я”, от лица которого ведется речь, предстает в них либо уже перешедшим границу смерти и лишь по недоразумению вернувшимся в мир живых, как, например, в стихотворении “Ненужное возвращение”:

После всего, сквозь годы смерти, осталась
сгорбленная деревня, что вместе с этой ночью
смутно меня припоминает.
Бессонница собак
передает от темноты к темноте все те же сплетни,
жестяной петух, флюгер на кресте,
как будто просит, чтоб указали ему направление.
Но я
не могу ошибиться адресом: он высечен
на моем теле.
Я осужден без жалости — шаг, другой:
вернуться и смотреть.
И вот уж день, и скоро меня найдут живым.
Зачем я взял с собой оттуда
глаза? —

либо окаменевшим, превращенным в мертвый объект, неподвижный или разрушающийся, как в стихотворении “Башня”:

Я не хотела расти ввысь, но бойкие воспоминания,
что возводят ярус за ярусом, каждое — на свой лад,
перемешались в толпе чужих языков,
оставив во мне неукрепленные преддверья,
лестницы, которые никуда не ведут, разрушенные перспективы.
Без переводчика, недостроенная,
я наконец заброшена.

С предельной ясностью состояние этого “я” выражено словами ветра в небольшой поэме “Ветер переменных направлений”:

От ужаса пустоты
я устремляюсь
в пустоту.

Стихотворения в прозе, перевод которых публикуется ниже, относятся к позднему периоду творчества Пагиса. Треть из них вошла в сборник “Синонимы” (1982), остальные — в изданную посмертно книгу “Последние стихи” (1986). В интервью Яире Гиноссар, появившемся в 1983-м, вскоре после выхода в свет “Синонимов”, Пагис утверждает, что именно в этой книге он “освободился от прежней закрытой поэтики” и вернулся к вещам, по его выражению, на долгие годы “заброшенным” — к тому, что “забыл о себе самом — даже в своей личной истории”. Речь идет не только об истории выживания и спасения в период Холокоста, но и вообще о том, что поэт именуется “биографически достоверным в смысле обстоятельств места и времени”. Стихотворения в прозе, без сомнения, ярче всех остальных демонстрируют поворот к этой “достоверности”. Так, например, здесь впервые упоминается родной город Пагиса, давно им покинутый:

Город, в котором я родился, Радауц в Буковине, отверг меня, когда мне было десять. Как только он меня забыл — так забывают умершего, — я тоже забыл его. Это было удобно для нас обоих.

Вчера, спустя сорок лет, он прислал мне сувенир. Как докучливый родственник, требующий любви по праву кровной связи. Я получил от него новую фотографию, его последний зимний портрет. Повозка, крытая балдахином, ждет во дворе. Лошадь повернула голову и с симпатией поглядывает на пожилого человека, запирающего какие-то ворота. В общем, похороны. В похоронном братстве остались двое: могильщик и лошадь.

Но похороны великолепные: вокруг, на сильном ветру, теснятся тысячи снежинок, и каждая из них — звезда со своей собственной кристаллической формой. Всегдашнее стремление быть особенным, всегдашние иллюзии. А ведь у каждой снежной звезды один и тот же каркас: шесть концов, Маген Давид, в сущности. Через минуту все они рассеются, перемешаются, превратятся в однородные комья, станут просто снегом. В них мой старый город приготовил могилу и для меня.

Здесь же — картины довоенного детства, образ матери, мимолетно высвеченный в зеркале памяти, зыбко обрисованный контур “взрослой” жизни, “заикающейся на семи языках”, косвенное упоминание недавней смерти отца и предвосхищение собственного ухода, в то время уже неизбежного, гротескные монологи типичных для Пагиса “странных” персонажей — левой ноги, авторучки “Монблан” — и, наконец, миниатюры об искусстве, настойчиво отсылающие к одной и той же ситуации, когда полнота художественного выражения оборачивается пустотой, а речь — молчанием. Несмотря на то, что эти стихи действительно не так герметичны, как прежние, они все же захвачены обычной для Пагиса тягой к “ускользанию” (или, в терминах исследователей его поэтики, “молчанию”, “загадочности”) — словно и вправду, как сказано в одном из них, написаны “симпатическими чернилами”.